

Томас Манн (1875–1955)

КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА

1939

Тот факт, что я осознал себя сторонником демократии, является следствием убеждений, которые дались мне нелегко и первоначально были чужды мне, выросшему и воспитанному в духовных традициях немецкого бюргерства; да, я пришел к убеждению, что политическое, социальное составляет неотъемлемую часть человеческого, принадлежит к единой проблеме гуманизма, в которую наш интеллект должен включать его, и что в проблеме этой может обнаружиться опасный, губительный для культуры пробел, если мы будем игнорировать неотторжимый от нее политический, социальный элемент.

Не покажется ли странным, если я скажу, что попросту приравниваю демократию к политике, определяя ее как политический аспект духовного, как готовность духа к политике? Но я уже сказал это двадцать лет назад в стоившей мне мучительных усилий объемистой книге, озаглавленной «Размышления аполитичного», где я привел это определение с полемически отрицательным знаком и где я во имя культуры и даже свободы всеми силами сопротивлялся тому, что называл «демократией», имея в виду политизацию духовной жизни. Повторяю, даже во имя свободы, ибо в соответствии со складом моего мышления понятие «свобода» означало для меня в то время свободу нравственную, а о соотношении последней с гражданской свободой я почти ничего не знал, да и знать не хотел. Ту книгу я написал в годы войны, страстно отдаваясь самопознанию и пересмотру всех основ моего мировоззрения, всех унаследованных мною традиций, — традиций аполитичной немецко-бюргерской духовной культуры. Эта культура впитала в себя музыку, метафизику, психологию, пессимистическую этику, идеалистическую теорию индивидуалистической педагогики, — но с пренебрежением отвергала всякий политический элемент.

Однако самопознание, если только предаваться ему с достаточной основательностью, представляет собой в большинстве случаев первый шаг к внутреннему перерождению; я понял, что человек, познавая себя, никогда не остается вполне таким же, каким он был прежде. Уже та книга, с характерным для нее стремлением говорить обо всем сразу, была выражением кризиса, плодом новой обстановки, созданной катастрофическими внешними событиями: проблема человека, проблема гуманизма во всей своей сложности и с небывалой доселе безотлагательностью вставала перед духовным взором нашего поколения.

Становилось ясно, что духовную жизнь нельзя начисто отделить от политики; что мысль, будто можно создавать культурные ценности, сохраняя аполитичность, представляет собой заблуждение немецкой бюргерской идеологии; что культура стоит перед лицом грозной опасности, если ей недостает политического инстинкта и воли; словом, на бумагу рвалось осознание демократической позиции, — оно требовало своего оформления вопреки противодействию впитанной мною традиции аполитичности. И я признателен своему доброму гению за то, что не сдержал этого порыва. Где был бы я сейчас, на чьей стороне стоял бы, если благодаря своему консерватизму остался бы приверженцем германской культуры, которая со всей ее духовностью, со всей ее музыкой не смогла уберечься от того, чтобы не опуститься до подлейшего низкопоклонства перед насилием, до варварства, угрожающего основам западной цивилизации!

До какой степени злосчастный характер германской истории и ее путь к национал-социалистической катастрофе культуры связан с аполитичностью бюргерского духа в Германии, с его антидемократическим отношением к политической и социальной сфере, на которую он взирал с высот спиритуализма и идеалистической «педагогики» — все это я снова предельно отчетливо осознал, когда недавно вновь перечитал творения одного из великих немецких мыслителей, отличного писателя, оказавшего огромное влияние на меня в молодые годы; я имею в виду Артура

Шопенгауэра. Этот выдающийся ум, предшественник Ницше в области антиинтеллектуализма, революционный реакционер, свергший с престола разум и превративший его в бессловесное орудие «воли», темного инстинкта, этот философ был ожесточенным противником Гегеля, который обожествлял политику и создал учение о государстве-улье как о высочайшей цели всех человеческих устремлений; все это Шопенгауэр объявил величайшим филистерством.

Сам он видел в государстве неизбежное зло и обещал некритическое, снисходительное невмешательство тем, кто взял на себя неблагоприятную задачу управлять людьми — этим племенем зловредных дикарей, охранять среди них законность, покой и порядок; а тем, кому выпало на долю владение какой-либо собственностью, он обещал защиту против тех бесчисленных обездоленных, кто владеет лишь собственной физической силой. Теперь мы видим, каковы страшные последствия антигуманистической доктрины, согласно которой назначение человека — раствориться в государстве, и нам понятен протест против абсолютизации государства, которая, говоря словами Шопенгауэра, ведет к тому, что «мы совершенно теряем из виду высокую цель нашего бытия».

Но разве и концепция государства как органа для охраны собственности не граничит с «филистерством», только с другой стороны, нежели гегелевское обожествление государства? И разве иронический отказ философствующего мелкого капиталиста от всякого вмешательства в политику, отказ духа от всяких политических страстей, — разве это шло на благо человеку, помогало ему жить? Своим девизом Шопенгауэр провозгласил: «Я каждый день благодарю бога за то, что мне не надо печься о Священной Римской империи!» Государству подобный афоризм в духе чистейшего филистерства и шкурничества не слишком должен был прийтись по вкусу, и мы теряемся в догадках, как мог воитель духа Шопенгауэр избрать себе такой девиз.

Дело в том, что отказ культуры от политики — заблуждение, самообман; уйти таким образом от политики нельзя, можно лишь оказаться не в том стане, питая, сверх того, страстную ненависть к противнику. Аполитичность есть не что иное, как попросту антидемократизм, а что именно это означает, каким самоубийственным образом дух, став на такую позицию, бросает вызов всему духовному, обнаруживается с необычайной ясностью на крутых поворотах истории. Позиция Шопенгауэра в 1848 году была зловеще обывательской и трагикомической. Его симпатии ни в малейшей степени не принадлежали тем, кто в то время надеялся — впрочем, в достаточной мере утопично — придать немецкой общественной жизни направление, которое вплоть до наших дней определило бы иное, более счастливое для человечества развитие общеевропейской истории и отвечало бы интересам всех людей с духовными запросами, другими словами — направление демократическое. Народ он называл не иначе, как «всевластная сволочь», и офицеру, который из окна его квартиры вел наблюдение за баррикадами, демонстративно предоставил свой театральный бинокль, чтобы тому было удобнее вести огонь по мятежникам. Это ли называется стоять выше политики?

Ведь это просто ненависть реакционера, и духовные причины этого чувства нам вполне очевидны. Мы зашли бы слишком далеко, если бы стали анализировать, в какой степени антиреволюционность Шопенгауэра логически и идейно коренится в его мирозерцании: она зависит от всего склада его натуры; она — некая основа его существа, связанная с его этическим пессимизмом, с тем культом «креста, смерти и могилы», которая психологически закономерно враждебна риторике, пафосу свободы, культу человечества. Этот мыслитель — антиреволюционер в политике вследствие своего пессимизма, отрицающего жизнь, вследствие своего преклонения перед страданием и своей ненависти к «непристойной оптимистичности» демагогии почитателей прогресса.

В общем, от него тянет душком слишком хорошо знакомого нам, слишком напоминающего нашу дорогую отчизну немецкого духовного бюргерства, — мы говорим «немецкого» потому, что оно пронизано духовностью, а его интроспективность, его консервативный радикализм, его

абсолютная отрешенность от всякого демократического прагматизма, его «чистая гениальность», его вызывающая несвобода, его глубокая аполитичность представляют собой специфически немецкую потенцию, закономерность и — опасность. Политическое безволие немецкого понятия культуры, игнорирование им демократии страшно отомстило за себя: немецкий дух пал жертвой тотальной государственности, которая лишила его не только гражданской, но и нравственной свободы. Если демократия означает, что политическое и социальное следует рассматривать как часть всеобщей проблемы гуманизма и что следует охранять нравственную свободу, защищая свободу гражданскую, то противоположностью, в которую, по законам диалектики, переходит антидемократическое высокомерие духа, является та теория и та глубоко бесчеловечная практика, которая абсолютизирует один из элементов проблемы гуманизма — политику, видит в политике всеобъемлющую тотальность, не желает ничего знать, кроме идеи государства и власти, приносит в жертву этой идее человека и все человеческое и уничтожает всякую свободу.

Этот процесс с неумолимой закономерностью ведет к трагическим последствиям. Политический вакуум в духовной жизни Германии, высокомерное отношение бюргера-интеллигента к демократии, его презрение к свободе, в которой он видит не что иное, как риторическое фразерство западной культуры, — все это сделало его рабом государства и власти, простой функцией тотальной политики, унизило его до такой степени, что невольно спрашиваешь себя, сможет ли он когда-нибудь снова поднять глаза перед лицом всемирного духа. Если он вообще выйдет живым из этого ужаса; если немецкий дух, который (в соответствии со словом Гете: «Цвет просвещения — разве он не духом бюргерства рожден?») все представляет себе не иначе, как бюргерским, — если он переживет тотальный позор, именуемый национал-социализмом, то, надо надеяться, это катастрофическое следствие его слепоты к политическому аспекту проблемы гуманизма окажется для него суровой, но поучительной и спасительной школой.

Я часто говорил: в Германии не станет лучше до тех пор, пока у немцев при слове «свобода» не будут навертываться на глаза слезы. Теперь уже, кажется, этого недолго ждать. После шести лет гестаповского государства немецкий бюргер как будто начал понимать, что такое, в конце концов, свобода, право, человеческое достоинство и неприкосновенность совести; он начал понимать и то, что эти понятия — нечто большее, чем пустопорожние фразы гуманитарного бунтарства. Но есть вещи, которые легче утратить, нежели обрести вновь, и ответ на вопрос, суждено ли еще когда-нибудь бюргерскому духу в Германии использовать свой трагический опыт, зависит от длительности нынешнего катастрофического кризиса, от того, является ли он преходящим эпизодом, или исторической эпохой. Как бы то ни было, но пока что роковые события развиваются своим чередом, и немецкий дух, желавший эмансипироваться от политики, гибнет под гнетом политического террора; парадоксальность его гибели довершается чудовищным итогом: бюргера-антиреволюционера, всегда признававшего революцию только в сферах религии и духа, ненавидевшего и презиравшего ее в сфере политики, насильственно принудили стать санкюлотом — участником самой необузданной «революции», какую когда-либо видел мир, — «революции», которую меньше всего можно назвать духовной, меньше всего гуманистической, которая направлена против всего, что история Запада учила понимать под культурой и гуманизмом, «революции» абсолютного и планомерного разрушения и уничтожения всех нравственных основ — во имя пустопорожней политической идеи власти.

Теперь уже всем должно быть ясно, что иных целей нет и не было у «революции», которая называет себя германской, что ей неведомы никакие духовные, моральные, человеческие стимулы, кроме безумной и бессмысленной жажды власти и порабощения; что все «идеи», «миросозерцания», теории, убеждения служат ей исключительно завесой, предлогом, орудием обмана для достижения завоевательной цели, лишенной всякого нравственного содержания; это теперь должно быть ясно даже тем, кто и в Германии, и за ее пределами хотели видеть в «национал-социализме» оплот какого бы то ни было порядка, хотя бы даже капиталистического. Если чувство собственного достоинства Запада по-прежнему будет трусливо пятиться перед ним, то в этой «революции» погибнет много больше, чем только капиталистический строй; было бы

смешно думать, что она остановится перед ним, — она, которая ради сохранения и расширения своей власти готова с беспредельным цинизмом заимствовать любой лозунг, и в первую очередь (как о том в настоящее время свидетельствуют бесчисленные признаки) заимствовать те самые лозунги, от которых она сулилась спасти буржуазный мир: лозунги большевизма.

Буржуазия Европы, более того, буржуазия всего мира поверила, что национал-социализм спасет ее от большевизма, попалась на удочку этого движения, «лишенного всяких предрассудков», идеологически абсолютно бесчестного и заявляющего о своей якобы лояльности из чисто тактических соображений; буржуазия до сих пор продолжает болтаться на крючке, в момент, когда практически, быть может, уже слишком поздно осознать свою ошибку. И это непростительная ошибка! Ибо здоровый инстинкт должен был бы подсказать ей, что это устремленное в никуда «движение», которое, правда, начинало свой путь под прикрытием различных грубо манящих личин — националистической и мелкобуржуазной культурно-консервативной, — как раз и является тем самым, что буржуазная фантазия вкладывает в мифическое понятие «большевизм».

Все, что она вкладывает в это апокалипсическое понятие: насилие, анархия, кровь, огонь и господство черни, преследование веры, грязная жестокость, извращение всех понятий, опозорение права и разума, бесстыдное, дьявольски-издевательское извращение истины, подстрекательство подонков общества, разложение, ликвидация государственного порядка, причем все это вынесенное за моря и границы вплоть до последнего уголка земного шара при помощи денег, подкупа, одурачивающего пустословия, бесчисленной армии шпионов и агитаторов, пока везде и всюду не будет сломлено сопротивление, уничтожен порядок и весь мир не превратится в огромную могилу свободы, над которой развеивается знамя тупоумного рабства, — да, подобным «большевизмом» является только национал-социализм.

И если войны, более разрушительные и варварские, чем Тридцатилетняя война, разятся над Европой, разорвут ее в клочья и отбросят на несколько столетий назад, — он, враг человечества, будет зачинщиком этих войн. Враг человечества.. Презрение к политике, антидемократизм немецкого духа, мнившего себя носителем культуры, привели к тому, что уделом его стала эта страшная бранная кличка, это проклятие. Он ни сном, ни чохом не помышлял ни о чем подобном, да и теперь, оказавшись лицом к лицу с фактами, спрашивает, уж не привиделось ли ему все это во сне. Увы, это реальность. Он отказывался признать политику составной частью проблемы гуманизма, и теперь эта его позиция привела к диктатуре политического террора, к бесконтрольной власти грубой силы над рабами, к тотальному государству; плодом его эстетско-бюргерского стремления уйти в область культуры оказалось такое утверждение варварства в морали, средствах и целях, какого еще не видел мир; и своим высокомерным чистоплюйством по отношению ко всякой освободительной революции он обязан тем, что стал орудием чудовищного переворота, орудием анархической, тотальной «революции», которая угрожает основам и принципам всей западной цивилизации и морали и с которой не может сравниться никакое нашествие гуннов в далеком прошлом.

Вольно же ему было кривиться в усмешке антидемократизма, не подозревая о том, что демократия идентична этим основам и принципам, что она представляет собой не что иное, как политический аспект западноевропейского христианства, а сама политика есть не что иное, как та нравственность духа, без которой он обречен на гибель. Мы хотим констатировать следующее: в то время как во внешней жизни народов наступила — или казалось, что наступила — эпоха культурного упадка, вероломства, беззаконья и гибели понятий верности и доверия, дух вступил в эпоху моральную — иначе говоря, в эпоху упрощения, когда он, отказавшись от гордыни, пытается разобраться, где добро и где зло.

Зло явилось нам в такой бесстыдной гнусности, что у нас открылись глаза на величаво-простую красоту добра, мы почувствовали к нему сердечную склонность и уже не считаем зазорным для

своей утонченности признаться в этом. Мы вновь решаемся произносить такие слова, как свобода, истина, право; мы видели столько подлости, что избавились от холодного скептицизма, с каким прежде относились к ним. Мы идем с ними навстречу врагу человечества, как древле монах шел с распятием навстречу сатане; и все муки, все страдания, которые уготовила нам наша эпоха, перевешивает юное счастье человеческого духа, который вновь обрел начертанную ему от века миссию и зрит себя Давидом, сокрушающим Голиафа, святым Георгием-победоносцем, сражающимся со змеем лжи и насилия.

1939

Конец текста